

Заскрипели половицы, и донеслось покашливание. Сергей Иванович, заложив руки за голову, заскрипел продавленной кроватью и покосился на хозяина дома, который промелькнул в проеме двери и загремел ведром, что стояло на широкой лавке возле входа, забубнил под нос, а потом принялся что-то искать на широкой полке, прибитой к стене. Он покосился на старика и снова нахмурился, посматривая сквозь щели на блеклое небо, подернутое серой пеленой. Вдохнул. Он снял большую веранду на лето, где можно было бы переночевать, а остальное время хотел побродить по окрестностям да заняться пейзажами, благо, здешняя природа манила, чтобы ее перенесли на холст. Горы и всхолмья, перелески и березовые колки, извилистые речушки и ручейки, а цветущие луга и поля с пшеницей такие необъятные, аж дух захватывало...

Он случайно наткнулся на эту забытую богом деревушку, когда сбился с дороги и долго колесил по грунтовкам, которые, как раки, расползались в разные стороны, пока наконец-то не наткнулся на небольшую деревню, затерянную среди лесов, полей и лугов. Он полдня просидел на пригорке. Дома там и сям разбросаны по пологим холмам. Огороды упираются в речку, что протекала позади деревни. Сонные улицы. Замерла деревня, но в то же время жизнь в ней теплилась. Вон неторопливо потрусил собака по своим собачьим делам. Остановилась возле какого-то двора, лениво гавкнула, может здоровалась, а может соседскую собаку пригласила на прогулку, а потом снова уткнула нос в тропку и дальше пустилась. Загремело ведро. На улицу вышла старуха. Приложила ладошку к глазам, долго всматривалась вдаль, видать кого-то ждала, но не дождалась, заглянула через забор в соседний двор, кого-то окликнула, но там была тишина, и она снова вернулась в дом. Гоготнул гусь, но тут же смолк, когда неожиданно заорал петух, взлетел на забор и захлопал крыльями, а вслед за ним еще несколько отозвались. Живет деревня — это хорошо. Сергей Иванович долго наблюдал за сонной деревней, за маревом, что нависло над горизонтом, за стайками берез, что взбегали по горе, и за яркими всполохами рябин. К вечеру, не выдержав, спустился к крайней избе и долго разговаривал с неуступчивым ворчливым старичком, одетым в засаленные пузырястые штаны, в выцветшую рубаху на выпуск, в ворота которой виднелась толстая черная нить с простеньким крестиком, а на клювастом носу едва держались очки с толстыми стеклами и дужкой, замотанной синей изолентой. Наконец, сошлись в цене. Сергей Иванович уплатил аванс. Старик сразу же запрятал деньги в необъятный карман, а потом повел его на веранду, где в дальнем полутемном углу стояла кровать с большими тяжеленными подушками и

цветастым ватным одеялом, из которого торчала клочкастая вата. Рядом раскорячился сундучище, в таких раньше приданое держали да прятали под амбарный замок одежду, накопленную за долгие годы. К нему притулились два-три мешка с прогрызенными дырками и рассыпавшейся пшеницей. На стене, на вбитых толстых гвоздях, висели старые фуфайки, облезлый тулуп, тут же громыхнул жестью брезентовый плащ — обычно такие пастухи носят — от жары спасаются, да от дождя можно укрыться. А чуть наискосок было широченное запыленное окно. Свисали клочья старой паутины. Сквозь дырявую крышу пробивались тонкие лучики света, в которых кружилась пыль, поднятая стариком, когда он стал наводить порядок на веранде, сметая сор да пшеницу потертым чилиговым веником в щелястый пол, из-под которого радостно загорланил петух, созывая несушек к обеденному столу...

— Что валяешься, мил-человек? — дед Гриша поправил очки, прошелся по веранде, присел на край кровати, достал самосад, сделал самокрутку и закурил, выпустив ядовитое зеленоватое облако дыма. — Вторые сутки бока отлеживаешь да на облака поглядываешь. Глянь, какие погоды стоят. И облака подросли. Повзрослели, можно сказать, силушкой налились.

И ткнул скрюченным пальцем в окно.

Приподнявшись, Сергей Иванович прислонился к спинке кровати.

— Я уж второй день смотрю, как облака растут, — недовольно буркнул он. — Мне ветер нужен, ветер, чтобы немного отогнал облака от деревни и тогда утренние лучи солнца другими будут, а не такими, как сейчас — блеклыми и безжизненными. Едва солнце начинает всходить, едва мелькнут первые лучи — и тут же скрываются за облаками, которые нависли над деревней и словно приросли к горам — ничем не сдвинешь. Может, тяжелые, а может, ветер нужен, чтобы их чуточку отогнал и тогда утреннее небо станет ярким и глубоким, словно умоется, а лучи будут его подсвечивать, вот тогда-то облака заиграют. Мне нужны эти лучи, чтобы наружу вытянуть свет, а сейчас...

Не договорил, удрученно махнул рукой.

— Вот те на, я думал, он облакам обрадуется. Не каждый день над нашей деревней такие собираются. Наверное, смотрят, как люди живут, как я ворчу, как ты на кровати валяешься. Смотрят и удивляются, что люди — это лодыри. Ты, мил-человек, облакам радуйся, потому что они живые, — взглянув поверх очков, сказал старик, — а ему лучи подавай. Хе-х, насмешил! Где же взять эти лучи, мил-человек, если облака не по дням, а по часам растут? Время для них настало, силушку набирают...

— Меня зову... — раздраженно заворчал художник.

— Да знаю, мил-человек, знаю, как тебя зовут, — отмахнулся дед Гриша и, затаившись, опять скрылся в облаке едучего дыма. — Привычка такая у меня, мил-человек. Даже выговор получил за это, когда самого секретаря райкома на собрании назвал мил-человеком и носом при всем народе ткнул в его ошибки. Обиделся! Он молодой был, с гонором. Расфырчался, что я ничего не понимаю в его работе, и вместо того, чтобы слушать и помогать, я палки в колеса вставляю. Так и сказал. Да! Ну, меня наказали, а толку-то? Выговор вlepили, а с работы-то не сняли. Секретарь укатил, а я остался, и мне его выговор, как мертвому припарки. Он душу успокоил, а я даже не расстроился. Хе-х! — он встрепенулся и привычно ткнул в очки, поправляя. — Что хотел узнать-то... Вот ты, Сережка, малюешь картинки, а я наблюдаю за тобой и удивляюсь, неужто эту мазню покупают, а? — и, поднявшись, он подошел к мольберту, картинно отставил ногу в рваном носке, почесывая реденькую седую поросль на груди, склонился и прищурился, стараясь понять, что на холсте, сделал несколько шагов назад, опять взглянул и небрежно махнул рукой. — Мазня-мазней! Помнится, я в детстве так малевал, а потом батя хворостиной задницу расписывал. Хе-х! — и, поглаживая венчик седых волос, хрипловато хохотнул и снова спросил.

— И покупают?

Он взглянул на постояльца.

— Покупают, дед Гриша, покупают,— усмехнувшись, сказал Сергей Иванович.— На хлеб с маслом хватает. Бывает, икоркой балуюсь.

— Неужели? — удивился старик и опять подошел к мольберту, словно хотел понять, за что платят такие деньжищи, долго стоял, качал головой и снова пожал плечами.— Вот убей — не пойму! Натыкал кисточкой, размазал по всей картине и считаешь, мил-человек, что красиво. Хе-х! — склонившись, выглянул в окно, зыркнул глазами туда-сюда, приложил руку лодочкой, прищурившись, долго смотрел на березы, что стояли за речкой, взглянул на тяжелые, этажные облака, которые, казалось бы, зацепились за верхушки деревьев и никак не хотели уползть за горизонт, потом ткнул скрюченным пальцем, показывая.— Вот ты говоришь, что облака не нравятся, что лучи тебе подавай... А что ты знаешь про облака, мил-человек? — и, хитро сощурившись, взглянул поверх очков на постояльца.

Прислонившись к высокой спинке, художник усмехнулся, поглядывая на ершистого старика, с которым чуть ли не каждый день приходилось спорить о чем-либо, потому что у старика был свой взгляд на жизнь и все, что его окружало.

— Что могу сказать,— Сергей Иванович запнулся, думая, как бы вспомнить и более доступно объяснить, а потом просто сказал.— Ты, дед Гриша, говоришь, будто облака живые, а я скажу — это вода превращается в облака, это мы еще в школе проходили. Вода испаряется из морей и океанов, да отовсюду, где она есть, и поднимается вверх, а там свои законы, по которым в облака превращается.

Дернув за венчик волос, дед Гриша тоненько засмеялся.

— Я в школах не учился, как ты, к примеру, — он погрозил пальцем и снова ткнул в окно.— Сызмальства пришлось работать. Закорючку ставлю заместо росписи, но меня не проведешь. Моя бабка Агриппина, царствие ей небесное,— он крутанул рукой перед собой, словно перекрестился, и посмотрел на икону, что висела в углу.— Она могла на любой вопрос ответить. Все знала! И ведь тоже не училась. Да и какая учеба в деревне, если семеро по лавкам?! То люльку качают, то за малышкой присматривают, потом с батеи в поле уходишь или в леса, а то на реку. Оглянуться не успеешь, самого оженили, и тоже семеро по лавкам сидят и все кушать просят. А ты пластаешься день и ночь, чтобы семью содержать. Так всегда было, мил-человек. А сейчас... Эх...— старик сокрушенно покачал головой.— Одного еле-еле народили, и плачутся, слезами заливаются, что жизнь тяжелая, а сами-то и не видели еще — эту жизнь, зато научились жаловаться. Измельчал народ. Не люди, а так, людишки пошли...

И старик махнул рукой, а потом полез в карман, доставая свой любимый самосад.

— О, как! — рассмеялся Сергей Иванович.— Начал за здоровье, а закончил за упокой. Обещал про живые облака рассказать, а сам...

Он замолчал.

Старик ткнул пальцем в переносицу, поправляя съехавшие очки. Покрутил головой и, заметив запыленную пустую банку, поплевал в нее и ткнул туда окурочек.

— Вот ты умный человек,— подняв палец вверх, сказал старик,— а говоришь, что облака — это вода из морей-океанов. Там вода горькая, как слышал, а дождевая вода — сладкая. Почему так? Ты же должен все подмечать, а тут с облаками опростоволосился. Хе-х! — дед Гриша торжествующе посмотрел на постояльца.— Ты подумай своей головой, мил-человек, как должен закипеть океан или море, к примеру, чтобы этот самый пар добрался до небес, а? Вон, кастрюлька стоит на огне, из нее пар вырывается. Чуть повыше подними руку и не почувешь его — этот пар, потому что он исчез, в обычный воздух превратился, а ты говоришь... Хе-х! — и тонко засмеялся, махнув рукой, а потом прищурился, посматривая на постояльца.— А ты видел, какие облака бывают, к примеру, зимой, а весной или летом и осенью? Что говоришь? Разные... Я без тебя знаю, что они разные, а почему? Ты хреновый худож-

ник, если не можешь объяснить, почему они разные... Ничему тебя жизнь не научила и ваша школа — тоже. Это я болтун? Да ты... Да ты... — старик возмущенно запыхтел, он поддернул штаны и ткнул пальцем. — Сам ты балаболка городская! Тебя учили, учили... Кучу денег потратили, а в твоей голове как был сквозняк, так и остался. Вот и получается, что пустили деньги на ветер. Еще неизвестно, кто из нас — болтун. Вот так, мил-человек! — и, махнув рукой, хлопнул дверью. — Ишь, говорит, из горького моря делаются облака, а дождик-то сладкий идет. А почему — не может сказать. Меня болтуном выставил, а сам-то... Пустомеля!

Старик продолжал ворчать, медленно спускаясь по ступенькам крыльца.

Проводив взглядом старика, художник усмехнулся, заложив руки за голову. Долго лежал, прислушиваясь к разноголосому кудахтанью кур, что возились в пыли, к ворчливому голосу старика, который, скорее всего, сидел на лавочке возле калитки и с кем-нибудь разговаривал и вспоминал его разговор. Не удержавшись, зная обидчивый характер старика, художник поднялся, потянулся, насколько можно было на невысокой веранде, поддернул старенькие штаны, перепачканные краской и вышел на крыльцо, присев на высокую ступеньку. Взглянул на дальние холмы, на зеленые склоны, длинные тени от березок и низкое солнце, которое едва было видно сквозь мутную пелену, нависшую над горизонтом.

— Дед Гриш, — крикнул он, заметив его замызанную фуражку за забором. — Может, поужинаем? Накормишь голодного и хренового художника, а?

И, не удержавшись, опять засмеялся, вспоминая, как старик обозвал его и, запыхтев, ушел на улицу.

Фуражка зашевелилась и приподнялась. Из-за забора выглянул дед Гриша и, грозно сдвинув густые седоватые брови, взглянул поверх очков и погрозил.

— Я те дам, передразнивать! — сказал он, открыв калитку, и быстро засеменял к дому. — Ишь, пустомеля! Сам в трех соснах заблудился, а меня выставил болтуном. Эть, ну, дал боженька постояльца! Теперь замучает, пока не умотает в свой город, — и тут же ткнул пальцем. — А я скажу так, мил-человек, что моя бабка Агриппина намного умнее всех вас, нынешних, хоть и была неучем... — он запнулся, постоял, подергивая бровями, о чем-то думая, и махнул рукой. — Ну ладно, так и быть, заходи. Покормлю тебя, хоть и не заслужил, но если будешь обзывать, голодным оставлю. Понял?

И, прихватив головку чеснока и пучок лука, скрылся в избе.

Посмеиваясь, Сергей Иванович отправился за ним.

Ужинали неторопливо. А куда спешить, если вечер на дворе. На столе несколько вареных картофелин, пара-тройка яиц вкрутую, лук лежит рядом с солонкой, ломти хлеба, мяса нет, но есть немного пожелтевшего сала, но все равно вкусное, и две щербатые чашки с вермишелевым супом, который дед Гриша сам приготовил. Жена давно померла, а дочка и сын в город перебрались. Его звали, он отмахнулся. Родился в деревне и пусть здесь же закопают. И место приготовил. Рядышком с женой. Сказал, рядышком уляжется, хоть ей веселее будет. Закатится смешком, а глаза-то грустные. Сколько лет один, но так никого в дом не привел. Говорит, негоже, чтобы на жинкиной кровати спала другая баба, негоже. Сколько пытались ему невесту найти, он отмахивался. Своей не стало, а другая не нужна. Так и живет с той поры один, да редкий раз дети навещают и все на этом. И Сергей Иванович, когда поселился у него, заметил, старик ворчит-ворчит, все не так ему, а глаза радуются. Видать, все же надоело одному-то в пустой избе. А то, что брюзжит, так возраст такой — ворчливый, можно сказать. Все истории рассказывает. Заслушаешься. Много знает. Откуда, даже непонятно. И вот сейчас, зацепился за облака. Утверждает, что они живые. Значит, опять начнет рассказывать историю. Интересно его слушать. Кажется, небылицы плетет, а в то же время правдиво. Вот и задумываешься над его словами. А вдруг не обманывает?

После ужина Сергей Иванович со стариком пили чай с печеньем и простыми карамельками. Долго пили. Старик любил из блюдца чаи гонять. Чуть-чуть плеснет. Покакает во рту карамельку, подует на горячий чай и шумно отхлебывает. Швыркаю, как он говорил. Так и швыркали с ним, пока крупные капли пота не потекли. Наконец, дед Гриша поднялся. Серым застиранным полотенчиком вытер вспотевшее лицо и принялся убирать со стола. Сергея отправил во двор, чтобы не путался под ногами.

Сергей Иваныч вышел на улицу и присел на ступеньку, тоже утираясь полотенцем. Так было всегда, когда они пили чай. Словно старались друг друга перегнать, кто больше выпьет. И всегда старик побеждал. А потом посмеивался над постояльцем, мол, слабый народишко пошел, даже чай пить не научились. И хекает сидит, а по глазам видно — доволен.

Повесив полотенчик на перила, Сергей Иваныч привычно принялся осматривать окрестности, останавливая взгляд на каких-либо мелочах, и снова смотрел, стараясь все запомнить.

Заскрипели половицы, раздался кашель, и рядом уселся старик, доставая кiset, и закурил, разгоняя сизый вонючий дым.

— Все лучи свои ищешь или ворон ловишь? — сказал он, подтолкнул постояльца и не удержался, зашелся в долгом кашле, потом сплюнул и просипел. — Сидит и башкой вертит во все стороны. Ну, чисто сорока, да и только!

— Привычка смотреть, — пожимая плечами, задумчиво сказал художник. — Что-нибудь заметил — и сразу в памяти откладывается, а то в блокноте или в записной книжке почиркаешь, да на любой бумажке, что под руку попала, лишь бы не забыть. У меня таких почеркушек немеряно собралось! И запоминаешь детали, всякую мелочевку, а из этого уже постепенно начинаешь мозаику выкладывать. Потом, когда в голове сложился образ или картину представил, тогда берешься за работу. И таких задумок в голове — не счесть! И так всегда...

— Твоя правда, мил-человек, — закивал головой дед Гриша и аккуратно стряхнул пепел в заскорузлую ладонь. — Я вот тоже, к примеру, увижу какую-нить железяку, сразу думаю, что из нее можно соорудить, куда бы приспособить. Все в хозяйстве сгодится. Так и собираю, где и что лежит, и ташу домой. Вон, уже сколько добра навалил, — и кивнул на большую кучу возле баньки. — Моя бабка ругалась, что двор захламляю, а потом махнула рукой. А когда мне что-нить нужно, я напрямик туда отправляюсь и начинаю кучу ворошить. И нахожу!

И начинался долгий и неторопливый разговор. Да какой разговор, если больше молчали, чем говорили. Так, изредка перебрасывались словами, да курили, иногда спорили, но тут же умолкали и каждый вспоминал о чем-нибудь своем, а когда молчание затягивалось, снова скажут и сидят, о своем думают. И так каждый день...

— Скажи, мил-человек, вот намалюешь свои картинки, а потом что с ними будешь делать? На рынок понесешь или как? — попыхивая сигаркой, сказал дед Гриша. — Наверное, уже вся квартира завалена, да?

Сказал и, хитро прищурившись, взглянул поверх очков.

— Почему на рынок? — удивленно взглянул Сергей Иванович. — Бывают выставки, правда, редко. Иногда заказывают картины, а еще есть такие любители, кто приезжает, — смотрят и забирают, что им понравилось. Пока не жалуюсь, а что дальше будет — время покажет, — он задумался, потом покосился на старика. — Дед Гриша, что ты говорил про живые облака? Вижу, опять какую-нибудь небылицу намереваешься рассказать, да?

И покосился на старика, посмеиваясь.

Старик пошевелил бровями, наморщив и без того морщинистый лоб, снял фуражку, пригладил венчик волос и опять стал скручивать сигарку, отмахнувшись от папирос, какие подсунул художник.

— Что съешь всякую дрянь? Сколько смолю, но так и не привык к вашим папироскам и сигареткам — одно баловство и только,— поморщившись, он махнул рукой, потом провел языком по газетке и удовлетворенно осмотрел самокрутку.— Вот это конфетка! И вкусная, и запашистая, и для здоровья полезная, как говорил мой дед. Зимой, бывало, подхватит какую-нибудь лихоманку. Кашлем исходит. Дохает, как собака. Никому покоя не было. Тогда он брал самый крепкий самосад. Был у него такой. Горлодером называл. На всякий случай выращивал. Я мальцом был, стащил у него и решил посмолить. Так чуть концы не отдал! Ага... О чем я говорил? Ага...— он опять повторил.— Дед возьмет этот горлодер, скрутит здоровенную сигарку и на улицу подается. А там мороз, аж деревья трещат! Он смолит сигарку и ходит туда-сюда, а сам кашлем исходит. Опять скрутит и снова бродит — морозным воздухом дышит, а еще этим самым горлодером. Вот несколько сигарок изведет, до самых кишок прокашляется, вернется и быстрее в баню идет. Напарится так, едва до избы добирался. Зайдет, а ему бабка Агриппина стакан самогонки подает, а туда еще медку добавит. Не ради сладости, а для здоровья. Дед опрокинет его и лезет на печку. Укроется одеялом, бабка сверху на него всякое тряпье навалит, и он притихнет. А на ночь бабка возле печи ведро с водой ставила. Дед очнется, ковшичек опрокинет, мокрое исподнее скинет, сухое натянет и снова лезет под одеяло. Утром глядишь, а он здоровехонек бегаёт. Вот и получается, что наш горлодер лечит, а ваши папироски один вред приносят и больше ничего. Дрянь, да и только! Что говоришь? — опять зашевелились широкие кустистые брови.— А, живые облака... Ты, Сережка, когда картинки малюешь, только летом или постоянно? Ага, понял, как время есть, так и мотаешься за картинами... Мил-человек, можешь сказать, когда облака появляются на свет божий? Ну, рождаются...

Сергей Иванович удивленно мотнул головой, пожимая плечами, как облака могут рождаться, долго думал.

— Сразил вопросом, дед Гриша,— развел руками художник.— Право, не знаю... Не соображу, почему они рождаются. Мне кажется, они всегда были, есть и будут, потому что круговорот воды в природе, как говорится. Одни уходят за горизонт, а другие появляются.

— Это все брехня — ваш водоворот,— старик поднял палец вверх и поправил очки.— Я был мальцом, когда услышал эту побасенку, а может это и не сказка, но всю жизньшку поднимаю голову и смотрю на небо, и еще ни разу не видел, чтобы моя бабка обманула. Все сходится, как она рассказывала. Значит, она правду говорила. Я что говорю: бабка Агриппина неграмотная была, а столько знала, что любого профессора за пояс заткнет. Правда! К ней многие обращались. Одни за травками приезжали, другие за советом и она никому не отказывала. Всем помогала. Так вот, как бы тебе попонятливее сказать-то...— он задумался, поглаживая венчик волос, потом продолжил.— Каждый человек это видит, но не всякий замечает. Взгляни на человека и его жизнь со дня рождения и до последнего дня, как из мальчика становится стариком, а потом сравни с облаками. Всю зиму небо белесое от морозов или закрыто тучами. Даже при ясной погоде по небу пелена раскинута. Правильно? Ага, точно... Весна наступает, теплом потянуло, и небо становится чище, и там появляются тоненькие легкие перышки-облачка — это детишки родились. Что? Наверное, перистые — не знаю... Летом эти облачка-детишки растут не по дням, а по часам, наливаются силой и к концу лета становятся огромными и высокими — это уже взрослые по небу гуляют. Так говорю? Вот, правильно! Наступает осень. Облака начинают темнеть или потихонечку состариваются, ежели по-людски сказать. Расползаются во все стороны, все чаще заволакивая небо до самого горизонта. А в конце осени они почти сплошь растянулись над головой и стали черно-серыми, тяжелыми и медлительными, будто наверху собрались пожилые облака. А зима наступает, небо закры-

вается серыми — седыми облаками — это старость пришла к ним и, лишь изредка появляется солнце, но это солнце всегда в какой-то пелене. А начинают исчезать седые облака в начале весны, а на их месте снова появляются легкие перистые облака, как ты назвал. Человека хоронят в землю, а седые облака уходят в небесную синь, чтобы дать новую жизнь другим облакам. Вот и подумай, мил-человек, откуда берутся облака. Они рождаются! И с весны до весны — это их жизнь. С одной стороны — короткая жизнь, а с другой, если подумать, длинная, потому что они очень много пользы приносят людям. Как, кто родил? Эта... — старик покрутил головой, ткнул пальцем в очки и подергал венчик волос. — Как ее... А, вспомнил! Природа — это она родила, так моя бабка Агриппина говорила. А не верить ей не могу, она умнее всех была. Убедился! И ты, ежели умом пораскинешь, тоже поверишь. Гляди на небо, мил-человек, жизнь не только на земле, но и на небесах — тоже! — и, поднявшись, он громко зевнул, направился в избу, но приостановился. — Да, вот еще... А моря и океаны — это слезы людские. Для кого-то слезы радости, кому — горести, У каждого человека свои слезы. Это мне бабка Агриппина говорила. Как-нибудь расскажу тебе, а сейчас что-то меня сморило, — и опять протяжно зевнул. — Пойду, чуток подремлю, — и захлопнул дверь.

И снова дверь заскрипела. Дед Гриша вышел и взглянул на небо.

— Забыл сказать... Слышь, мил-человек, — он ткнул пальцем, показывая на небо. — Можешь готовить свои краски. Завтра будет ветер. Утром лучи по небу пробегут и оно станет таким, каким ты его видишь. Поторопись...

Сказал и направился к двери.

— Дед Гриша, — Сергей Иванович посмотрел на небо. Оно было блеклым и безжизненным. — Дед, откуда знаешь, что будет ветер?

— Я знаю гораздо больше, чем ты думаешь, — буркнул старик. — К примеру, после обеда начнется гроза. Сильная. До нитки вымокнешь, пока до деревни доберешься, но ты не заболеешь. А я, пока тебя не будет, баньку протоплю. Попаримся, чай пошвыркаем, а потом посидим, за жизнь поговорим...

Сказал и притворил дверь.

Сергей Иванович опять взглянул на мутное небо. Казалось, облака стали еще больше, словно подросли за эти дни: тяжелые, высокие и неповоротливые, они зацепились за вершины гор и ничем не сдвинешь. Редко проглядывало тусклое солнце. Он пожал плечами, задумался, вспоминая рассказ старика, и, сравнив человека с жизнью облаков, от первого и до последнего дня, удивленно хмыкнул, поражаясь сходству. Потом махнул рукой, заторопился на веранду и стал собирать краски с кистями. А вдруг, правда, старик не обманывает, и завтра будет долгожданный ясный день и тогда он снова возьмется за картину? Все может быть...

А вечером, как обычно, они будут сидеть на крыльце и вести долгие разговоры. Даже разговорами назвать-то нельзя. Так, изредка перебросятся словами, но в основном будут молчать и курить, иногда спорить, и снова молчать, и каждый будет о чем-то своем вспоминать, а когда молчание затянется, снова перебросятся парой слов, а если настроение будет у старика, он что-нибудь расскажет, к примеру, о море людских слез или еще о чем-либо...